

ОПИСЬ МАЛЫХ УТРАТ

РОМАН



МАННАН ХОРДАН

Михаил Ковальчук

Опись малых утрат

«Автор»

2026

Ковальчук М.

Опись малых утрат / М. Ковальчук — «Автор», 2026

Рен Истли привыкла жить так, будто ничего нельзя потерять, если ничего не хранить. После смерти бабушки она возвращается в приморский Солтрид-Бей, чтобы продать старое бюро находок и снова уехать. Но вещи на его полках хранят не только чужие истории: прикоснувшись к ним, Рен чувствует момент утраты и может вернуть память владельцу. За каждое возвращённое воспоминание она расплачивается своим. Чем дольше Рен остаётся в городе, тем ближе находки подводят её к ночи шестнадцатилетней давности, когда в шторм погибла её сестра-близнец. Мать, бывший возлюбленный и весь город знают об этой ночи больше, чем готовы сказать. Чтобы понять, что на самом деле забрало море, Рен придётся решить, какие воспоминания можно отдать и что останется от человека, если потерять слишком многое. «Опись малых утрат» — роман о памяти, горе и цене возвращения домой.

© Ковальчук М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Опись малых утрат	6
Глава вторая. Телефонный звонок	7
Глава третья. Солтрид-Бей	9
Глава четвертая. Дверной косяк	10
Глава пятая. Письмо и обязательства	13
Глава шестая. Цена	18
Глава седьмая. Том Хейл	20
Глава восьмая. Закрашенная дверь	22
Глава девятая. Пропавшая неделя	24
Глава десятая. Две лампы	25
Глава одиннадцатая. Не тот шарф	27
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Михаил Ковальчук

Опись малых утрат

ОПИСЬ МАЛЫХ УТРАТ

роман

Михаил Ковальчук

© Михаил Ковальчук, 2026

Все права защищены.

Первое электронное издание.

Глава первая. Опись малых утрат

У Рен Истли было одиннадцать вещей, за которыми она вернулась бы даже в горящий дом. Она пересчитывала их так часто, что сам счет стал почти молитвой.

В то утро, еще до телефонного звонка, она тоже считала. Лежала в темноте на узкой кровати, в узкой квартирке над прачечной, в той части Лондона, где ее имени никто не знал. Именно поэтому она это место и выбрала. Она перебирала вещи в памяти, как бабушка когда-то перебирала четки: не ради самих слов, а ради ровного движения, которое они задавали, ради маленького доказательства, что мир еще можно держать в порядке, если не торопиться.

Первым был латунный наперсток с вмятиной на макушке. Он принадлежал Эдит, а до Эдит — женщине, чье имя никто не сохранил. Наперсток был слишком мал для любого пальца Рен. Она в жизни ничего не шила. И все равно держала его в спичечной коробке, выложенной ватой, потому что однажды, когда ей было шесть, бабушка надела наперсток ей на большой палец и сказала: *Вот. Теперь ты в броне*. Рен поверила. Почти на целый год.

Вторым — читательский билет из библиотеки Солтрид-Бей. Библиотеку закрыли, когда Рен было девять; потом там открыли лавку с рыбой и картошкой, потом исчезла и она. От долгого обращения билет стал мягким, почти как ткань. На нем стояла ее детская подпись: W из двух упрямых гор.

Третьим — цветок, плоский и бесцветный, между двумя квадратами стекла, заклеенными по краям. Когда-то он был синим. Теперь она уже не поручилась бы.

Четвертым — ее молочный зуб в кулечке из пожелтевшей бумаги. Остальные мать выбросила. Этот уцелел случайно: провалился в подкладку пальто и нашелся через много лет. Рен оставила его по простой, почти звериной причине: это была часть ее самой.

Пятым — билет в кино с оторванным корешком. На фильм, с которого она ушла посреди сеанса. С человеком, чье имя больше не разрешала себе произносить.

Шестым — ключ. Он больше ничего не открывал, по крайней мере ничего из того, что еще принадлежало ей. Два или три года она из упрямого горя пробовала им каждый замок, какой попадался. Потом перестала. А ключ оставила. Наверное, это было самое честное, что в ней было.

Седьмым — перьевая ручка. Она давно не писала; перо было перекошено и испорчено левой. Рен была правой.

Восьмым — перламутровая пуговица от пальто, которое отнесли в благотворительный магазин, пока память о том, кто его носил, еще не остыла.

Девятым — гладкий серый камень, опоясанный белой жилкой. В бухте такие называли счастливым камнем, ведьминым камнем, дырявым камнем и говорили: посмотри сквозь отверстие — увидишь, что есть на самом деле.

Десятым — ракушка, самая обычная, ничего не стоившая, найденная утром, которое стоило всего на свете.

Одиннадцатой была фотография. Рен держала ее на самом дне коробки, лицом вниз. Она знала, что там: две девочки на портовой стенке, ветер относит их волосы в одну сторону. Шестнадцать лет Рен считала фотографию, не переворачивая. Этого запрета ей хватало, чтобы считать прошлое запертым.

Одиннадцать вещей. На одиннадцати список обрывался, потому что Рен сама поставила там точку. Нельзя потерять то, что отказываешься хранить. Она повторяла это столько лет, что почти верила. Ее жизнь делалась все теснее, зато в ней ничего не могло застать врасплох.

И потому было особенно жестоко, что телефон зазвонил во вторник, когда она была на работе и возвращала очередную вещь в темноту.

Глава вторая. Телефонный звонок

Она была в музейном подвале и возвращала в ящик георгианское траурное кольцо, положенное на квадрат черного бархата. Там оно, скорее всего, проспало бы еще лет десять, прежде чем кто-нибудь снова его потревожил. Рен реставрировала вещи и возвращала их на место. Это была ее профессия, и она была в ней хороша. Лучше, чем хороша. Она понимала грамматику предметов.

Царапина была фразой. Потертость — признанием. Блеск на внутренней стороне кольца говорил, что его годами крутили на пальце, думая об одном и том же. Рен умела читать жизнь вещи так, как другие читают лицо человека за столом. Вещи ей нравились больше: вещь не спрашивала «как ты?» тем приглушенным, осторожным голосом, который всегда означал: *мы тут о тебе говорили*.

Под выпуклым стеклом траурного кольца лежала косичка волос: несколько каштановых прядей человека, умершего двести лет назад. Их сохранили люди, которые не выдержали бы пустоты. Заплатили ювелиру, чтобы у мертвого появился маленький твердый дом на руке живого.

Рен держала в руках тысячи таких вещей. Медальоны с молочными зубами. Часовые цепочки, сплетенные из детских волос. Викторианцы не стеснялись того, что горю нужен предмет. Современные люди предпочитали складывать скорбь в коробки без подписей и делать вид, что это порядок.

Телефон завибрировал на стальном столе — как муха о стекло. Номер был с тем самым кодом. Рен не набирала его шестнадцать лет.

Она дала звонку оборваться. Положила кольцо в ящик. Задвинула ящик.

Телефон зазвонил снова. Она снова не ответила. Код города уже сказал ей достаточно; оставалось только решить, сколько еще раз она позволит телефону повторить.

На третий раз она взяла трубку. После третьего раза молчание само становилось сообщением.

«Рен».

Голос матери. Странно было не то, что Мара позвонила. Странно, что голос совсем не изменился: тот же тембр, тот же короткий вдох перед именем, будто имя было ступенькой в темноте и Мара нащупывала ее ногой. Шестнадцать лет, а мать все еще произносила *Рен* так, как ставят на стол вещь, которую боятся уронить.

«Это бабушка. Эдит. Она умерла в воскресенье».

В таких случаях полагалось говорить правильные слова. Рен знала их все. Она отреставрировала достаточно траурных украшений и разгладила костяной папкой достаточно писем с черной каймой, чтобы выучить язык утраты наизусть.

Она сказала:

«В воскресенье».

Будто день был фактом, который можно подшить. Будто она сверяла его с описью и находила недостачу.

«Во сне. В конторе. Она сидела в кресле у окна. Том нашел ее, когда молоко так и осталось у двери». Мара замолчала. «На похоронах почти никого не было. Мы похоронили ее в четверг. Я не... я не знала, как попросить тебя приехать».

Похороны были. Прошедшее время. Закрыто и запечатано. Эдит уже лежала на церковном дворе над бухтой, там, где ветер с воды пригибает высокую траву в одну сторону и удерживает ее так. Никто не решил, что Рен захочет стоять у края этой могилы. И самое невыносимое — камень, который она проглотила и почувствовала внутри, — было в том, что они не

ошиблись. Она бы не приехала. Нашла бы причину, и причина была бы правдой, и она сидела бы в своей узкой квартирке, пересчитывая одиннадцать вещей, пока день не кончится.

«Есть еще контора», — сказала Мара наконец. «Она оставила ее тебе. Всю. Само помещение, все бумаги, все, что внутри. В Уитби есть солиситор, мистер Олдос, у него документы. И ключ». Когда она заговорила снова, голос у нее стал тоньше, почти молодым. «Она всегда говорила, что это будет твое, Рен. С самого твоего детства. Я никогда не понимала, почему она так уверена. Говорила так, будто все уже решено. Будто это не ей отдавать или забирать».

Рен смотрела на ряды ящиков перед собой. В каждом спало чье-то сохраненное горе.

«Я приеду и подпишу, что нужно», — сказала она. «Потом продам».

Она услышала, как мать набрала воздуха, чтобы спорить, и как передумала. Это — привычка за шестнадцать лет не толкать Рен ни к чему из страха, что та сорвется и сбежит, — оказалось большее любого спора.

«Хорошо», — сказала Мара. «Комната для тебя готова. Если захочешь. Синяя».

Синяя комната. Рен так давно не слышала эти слова вслух, что они достигли груди раньше, чем смысла. Так же, как ее имя.

«Я найду гостиницу», — сказала она и осторожно повесила трубку, будто закрывала дверь в комнату, где спит ребенок.

Потом стояла в холодном электрическом гуле подвала, положив ладонь на сталь, и считала, сама того не желая, до одиннадцати. И остановилась, как всегда, на фотографии, которую не переворачивала.

Глава третья. Солтрид-Бей

Солтрид-Бей не открывался сразу. Он собирался по частям.

Сначала — пустошь, бурая и равнодушная под оловянным небом; дорога между невысокими стенами сухой кладки, которые, казалось, никуда не вели и ничего не ограждали. Потом запах, еще до того, как появилось море: соль, водоросли, дизель и под всем этим что-то более древнее, холодное минеральное дыхание глубокой воды. Запах вошел в машину через вентиляцию, пока бухта еще только угадывалась за следующим холмом. Рен приоткрыла окно раньше, чем успела решить, что делает.

Рен узнала этот запах раньше, чем успела его назвать. Руки сами крепче сжали руль.

Потом дорога перевалила последний подъем, и город оказался внизу весь сразу. Так было всегда: будто месту нравилось устраивать засаду. Серый, упрямый город на фоне серой воды. Крыши медленно сбегали по склону к гавани; мол выгибался в море, как рука вокруг чего-то драгоценного, а на самом конце этой руки стоял маяк — белый, терпеливый, одинокий, с той особой неподвижностью вещей, которые видели много бед и смогли предотвратить только часть.

Она забыла здешний свет.

Фраза пришла сама, точным голосом Эдит, и руки Рен сжались на руле. *Этот город держит свет, любовь моя.* При отливе бухта уходила, оставляя огромное сияющее поле ила, проток и лодок, завалившихся на кили. Когда выходило солнце, оно ложилось на всю эту мокрую серебряную равнину и превращало ее в чеканный металл — так ярко, что приходилось отворачиваться. Почти прощение, предложенное месту, которое о нем не просило.

Здесь море ничего не удерживало. Это был первый факт, который узнавал ребенок в Солтриде: раньше чтения, раньше собственного адреса. Дважды в день вода уходила и возвращала взятое — зеленые от старости бутылки, растрепанные обрывки веревки, рыбацкую перчатку, чистые мелкие кости чаек, детское ведро с лета десятилетней давности, а однажды, зимой, когда Рен было восемь, — целое пианино, разбухшее, перекошенное, полное крабов. На рассвете оно стояло посреди отмели, будто призрак присел сыграть.

У города было слово для того, что возвращал прилив. *Подношение.* Его произносили спокойно, без улыбки. Люди, которые живут морем, рано учатся не насмехаться над тем, что кормит и топит их — иногда в одну и ту же неделю, иногда в один и тот же час.

В детстве Рен была уверена, что умрет в этом городе. Потом выросла еще немного и стала уверена, что умрет где угодно, только не здесь.

Теперь ей было тридцать четыре. Она спускалась по холму, а на пассажирском сиденье ремнем была пристегнута картонная коробка. Одиннадцать вещей. Она просто не смогла оставить их в пустой квартире, вот и все. Это ничего не значило. Человек берет ценности с собой, когда едет в дорогу. Любой бы взял.

Рен смотрела на дорогу и не позволяла глазам подняться к церковному двору на мысе, где трава лежала в одну сторону и где ее бабушка уже пять дней была в земле.

Глава четвертая. Дверной косяк

Контора была там же, где всегда: последняя в ряду покосившихся зданий у набережной, узкая, пропитанная солью, втиснутая между лавкой Пенгелли и закрытым кафе-мороженым, как книга, засунутая боком на переполненную полку. Вывеску красили столько раз, что новые буквы никогда до конца не закрывали старые. При определенном свете можно было прочесть всю ее археологию сразу: десятилетия одних и тех же трех слов, проступающих друг сквозь друга.

БЮРО ПОТЕРЯННЫХ ВЕЩЕЙ.

А ниже, мельче, рукой Эдит — так мелко, что нужно было подойти близко и правда захотеть прочесть:

Ничто не пропало, пока кто-то все еще хочет его вернуть.

Рен стояла на набережной и читала. Над головой орали чайки. Внизу, на палубе под стеной, мужчина сматывал веревку. Он один раз поднял на нее глаза, задержал взгляд чуть дольше вежливого и снова занялся делом. Узнал.

Ключ лежал под ящиком для пожертвований спасательной станции, как и сказала мать. За день он успел нагреться на слабом солнце. Длинный, темный, с головкой, гладко стертой поколениями больших пальцев. Рен не сразу решила вставить его в замок.

Когда она все-таки вставила ключ, костяшки пальцев задели дверной косяк. Только это: случайное легкое касание кожи к старой крашеной древесине, такое, какого в обычной жизни не замечаешь.

И она оказалась в другом месте.

Это длилось не дольше моргания, но было плотным, как целый утонувший день. Она была маленькой. Косяк возвышался над ней огромный. Чужая рука, намного больше ее собственной, мягко обхватывала ее запястье и прижимала раскрытую ладонь к дереву.

Вот так, сказал голос, который она шестнадцать лет успешно не вспоминала; голос, в котором было море. Чувствуешь? Каждая дверь хранит понемногу от всех, кто через нее проходил. Поэтому мы никогда не красим внутреннюю сторону, любовь моя. Людей не закрашивают.

И под словами, сквозь них, было чувство — такое простое и целое, что глаза Рен защищало раньше, чем она поняла почему. В тот исчезнувший день она была счастлива. Полностью. Обыкновенно. Не острым счастьем дня рождения, а ровным глубоким счастьем ребенка, который еще не знает, что у него могут что-то отнять. Она стояла в дверях, теплая рука держала ее за запястье, и ей рассказывали тайну устройства мира.

Потом снова были порог, чайки и ключ в замке. Рен прижалась плечом к двери, чтобы прохожие не заметили, как у нее дрожат руки.

У нее не было таких воспоминаний. Были факты, даты, рассказы, которые можно пересказать и ничего не почувствовать. Это пришло через кожу и осталось в теле, хотя длилось меньше секунды.

«Это дорога», — сказала она пустому порогу тем бодрым, ровным голосом, которым говорила с испуганными животными, испуганными детьми и все чаще — с собой. «Ты устала. Дорога, запах, все это. Ничего».

Чайка на стене гавани повернула голову и посмотрела на нее одним плоским золотым глазом.

Рен повернула ключ. Замок поддался мягко, смазанно, будто ждал ее. Она толкнула дверь, и маленький латунный колокольчик над ней звякнул один раз, сладко, в темноту, сообщая комнате о ней так же, как до нее сообщал о десяти тысячах чужих людей.

Рен вошла.

Внутри пахло ее детством с такой точностью, что ей пришлось положить ладонь на прилавок, чтобы пол остался на месте. Пчелиный воск. Старая бумага. Едва заметное зеленое, подводное дыхание моря из щелей между досками, потому что здание стояло наполовину на земле, наполовину над гаванью, и в прилив вода шевелилась под ним — медленный вдох в костях дома. А под всем этим, слабее, особый запах Эдит: мыло, которым она пользовалась шестьдесят лет, лаванда, ставшая с возрастом чуть горькой.

На одно качнувшееся мгновение Рен была совершенно уверена: бабушка просто вышла в заднюю комнату и сейчас вернется, вытирая руки, и скажет без удивления, будто Рен отсутствовала не треть жизни, а один день: *Вот ты где. Я уже поставила чайник.*

Никто не вышел. Занавеска в заднюю комнату висела неподвижно. Послеобеденный свет входил через витрину под углом, густой, золотой, полный медленно кружащейся пыли, и ложился на все в комнате. А все в комнате ждало.

Контора ждала. В ее тишине было что-то настороженное, как за секунду до телефонного звонка.

Полки тянулись от пола до потолка вдоль обеих длинных стен, и каждый их сантиметр был занят. Не хламом — Рен различала это инстинктивно, и на работе, и здесь, потому что Эдит вбила ей разницу раньше, чем она научилась писать. Хлам никому не нужен. Здесь все было чьим-то. Иногда эту разницу выдавал только ярлычок, выцветший от времени.

У двери, в бочке, стояли сложенные зонты — странный серый урожай. Вся стена маленьких ящичков, подписанных выцветшими фиолетовыми чернилами; почерк становился дрожащим к нижним рядам, где жили поздние годы: КЛЮЧИ. ОДИНОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ. ОЧКИ. КОЛЬЦА И МЕЛКИЕ ЦЕННОСТИ. ФОТОГРАФИИ И ПИСЬМА. Один красный детский резиновый сапог стоял на полке ровно на высоте детских глаз, будто тот, кто потерял его, еще мог вернуться нужного роста. Наручные часы, остановившиеся в двадцать минут пятого. Кассета без коробки, с этикеткой, стертой до серого пятна. Мужская шляпа. Игрушечный кролик, на ушах истертый до серой основы: залюбленный почти до смерти и потом, каким-то образом хуже смерти, оставленный.

Вещи, которые люди положили и ушли. Вещи, выпавшие незаметно. Вещи, потерянные так, как теряешь, когда вся голова там, где раньше был человек, а руки перестали докладывать о происходящем.

На прилавке под гладкой серой галькой, обычным береговым пресс-папье, лежал конверт. На лицевой стороне ее имя. Почерк тот самый, который десять минут назад прозвучал у нее в голове.

Рен.

И все. Не *дорогая Рен*, не *моей внучке*. Просто имя, положенное осторожно, как кладут вещь, которую боятся уронить.

Рен долго смотрела на конверт. Снаружи, за стеклом, вода развернулась и начала уходить; она слышала это — долгий втянутый шорох всей бухты, которая опустошала себя, собиралась с силами и снова готовилась вынести свое подношение на отмели, чайкам и серому утру.

Она не открыла конверт. Она понимала, что боится его. Понимала, что страх несоразмерен листку бумаги. И пока не могла ничего поделать ни с тем, ни с другим.

Вместо этого — потом она так и не сумеет объяснить почему, кроме как тем, что комната настаивала, будто протянутая рука, — Рен подняла ближайшую вещь с прилавка.

Зонт. Простой, черный, сложенный, совершенно обычный. Такие теряют каждый день и редко возвращаются за ними.

Холод пошел вверх по руке, как звук по мокрой проволоке.

Она стояла на железнодорожной платформе под косым дождем. Она была не собой. Она была мужчиной лет шестидесяти, держала этот зонт над единственным чемоданом у своих ног, похожим на гроб, и ждала поезд, на который отдала бы остаток жизни, лишь бы не садиться.

Горе в ней — в *нем* — не имело дна. Оно уходило вниз и вниз. Это было горе человека, который возвращается домой один, в дом, навсегда ставший неправильного размера: все комнаты в нем теперь слишком велики.

Горе накрыло Рен с головой, как холодная вода. Она вскрикнула — звуком, который не узнала как свой. Зонт выпал из рук, хлопнул о доски и раскрылся.

И она снова была собой. В конторе мертвой бабушки. Одна. Обе руки прижаты ко рту. Ее трясло. Вода уходила, золотой свет лежал на тысяче вещей, которые другие люди не смогли вынести потерянными.

«Нет», — сказала она в ладони. Очень тихо. «Нет. Нет».

Потому что она поняла. Не медленно, не по частям, а сразу и целиком. Весь смысл этого пришел одним тошнотворным падением. Всю жизнь, всю свою осторожную, тесную, защищенную жизнь, она училась читать предметы. Слышать признание потертости. Брать вещь в руки и знать ее.

А здесь, в этой невозможной комнате, которую бабушка предназначила ей еще до того, как она научилась писать свое имя, вещи читали в ответ.

Поэтому мы никогда не красим внутреннюю сторону, сказал голос в памяти — мягкий, терпеливый, страшный. *Людей не закрашивают.*

Открытый зонт лежал у ее ног, снова безвредный: проволока и ткань. На прилавке ждал конверт с ее именем. На каждой полке, в каждом маленьком темном ящике спали, дышали и ждали очереди десять тысяч сохранных утрат.

Рен медленно села на бабушкин табурет. Зонт так и лежал раскрытым у ее ног. Конверт ждал на прилавке. Она сложила руки на коленях, чтобы случайно больше ничего не коснуться, и сидела, пока свет полз по полу.

Снаружи бухта закончила опустошаться. Внизу, на длинных серебряных отмелях, в последнем косом золоте, начали проступать первые мелкие подношения прилива.

Глава пятая. Письмо и обязательства

Она все еще не открыла конверт, когда звякнул колокольчик.

Мужчина вошел, не дожидаясь приглашения. Ему было лет пятьдесят. Дорогое пальто было подобрано так, чтобы не выглядеть дорогим. Он отряхнул мокрые ботинки о коврик и осмотрел потолок, плинтусы, полки. На Рен посмотрел последней.

«Вы, должно быть, внучка», — сказал он. «Рен. Я Крейл. Дуглас Крейл».

Он протянул визитку раньше, чем руку.

«Соболезную. Эдит была характером. Правда. Таких осталось немного».

«Нет», — согласилась Рен. «Немного».

Она рассматривала его.

«Вы быстро пришли».

«Я видел, как ваша машина спустилась с холма утром. Не буду притворяться, что не ждал. Такой фасад, половина расшивки осыпалась, весенние приливы лезут через пол — поневоле следишь, кому все это достанется». Он сказал это без смущения, будто слежка была просто добросовестностью. «Я давно жду этот ряд».

«Не стану тратить ваше время».

Он чуть повернул визитку, чтобы она могла прочесть, потом положил ее на прилавок рядом с нераскрытым письмом. Рен резко не понравилось, что они лежат вместе.

«Меня интересует весь ряд. Полностью: лавка Пенгелли, это помещение, старое кафе по соседству. В основном под сдачу отдыхающим, может быть кафе в конце. Мы с вашей бабушкой разговаривали. Мирно. Она понимала, что здание не молодеет. И она тоже».

Он выдержал паузу.

«Она была близка к согласию».

«Она умерла, так и не согласившись, и оставила здание мне», — сказала Рен. «Если она была близка к согласию, она не слишком торопилась».

Улыбка Крейла стала уже.

«Понимаю, момент тяжелый. Я только говорю: когда будете готовы, предложение честное. Более чем честное для здания, которое заливают в весенние приливы». Он кивнул на полки, зонты, один красный сапог на высоте детских глаз. «И вам не придется решать, что делать со всем этим. Тут работы на полжизни. Часть погибнет к зиме, если сырость усилится. Без обид. Просто факт».

«Это не просто бумага», — сказала Рен.

«Это потерянные вещи в городке на четыреста человек, у большинства из которых было сорок лет, чтобы вернуться». Он сказал это легко, почти мягко, и хуже всего было то, что он почти прав. Они оба это знали. «Подумайте. Спешки нет».

Он уже шел к двери.

«Ну. Небольшая спешка есть. Остальные владельцы хотят начать до осени. Но не с моей стороны».

Колокольчик звякнул за его спиной. Через окно Рен смотрела, как он читает надпись под вывеской: *Ничто не пропало, пока кто-то все еще хочет его вернуть*. Он едва заметно поморщился. Рен вдруг захотелось доказать, что он ошибается. Хоть в чем-нибудь.

Она подняла его визитку, бросила в мусорное ведро под прилавком и открыла бабушкино письмо.

Письмо было коротким. Эдит никогда не тратила два слова там, где хватало взгляда.

Рен,

если ты это читаешь, значит, я ушла, а ты вернулась. Стало быть, в одном я была права, а в другом ошибалась ты, и будь любезна не спорить с мертвой женщиной.

Лавка твоя. Не потому, что тебе ее должны. Потому что она выбрала тебя, как когда-то выбрала меня, а до меня — еще кого-то. Ты уже почувствовала — скорее всего, у двери. Ты всегда входила через дверь.

Рен перестала читать. Положила письмо лицом вниз на прилавок. Потом снова взяла.

Значит, ты знаешь, что я говорю правду, и я не стану тратить чернила, убеждая тебя. Вот что тебе нужно знать. И не больше: остальное выучишь трудным способом, как я.

Первое. Только невостребованные вещи. Контора — якорь: здесь вещь просыпается и хранит то, что было потеряно вместе с ней. Но порог не всегда гасит ее. Разбуженная здесь вещь может унести комнату с собой — пока ее не примет тот, кому она по праву принадлежит. И рабочая вещь хранителя, через которую что-то забрали или передали, может удерживать то, что ей доверили. Обычная вещь снаружи останется обычной. Берешь в руки — чувствуешь и сразу платишь. Возвращаешь правильному человеку — вещь отпускает его и замолкает. Уплаченное тебе не возвращается.

Второе. За это платишь. Каждый раз. Оно берет немного из твоего собственного хранилища, чтобы освободить место. Не буду пугать тебя тем, сколько. Скажу только: будь скупой, Рен. Не читай то, что не собираешься возвращать. Я потратила себя больше, чем следовало, и теперь есть утра, которых я не могу найти. Таков уговор. Я бы снова на него пошла. Но ты должна знать цену до того, как начнешь платить. Мне этого никто не дал.

Третье. Полки полны, потому что я стала медленной, потом старой, потом усталой. А в этом городе есть люди, которые до сих пор носят в себе пустое место по форме вещей с этих полок. Закончи, что сможешь. Потом делай с местом что хочешь. Продай его этому Крейлу, если придется, но не раньше, чем вернешь то, что должно быть возвращено. Лавка, которая копит, ничем не лучше моря, которое удерживает.

Следующая часть была написана другими чернилами, позже. Буквы стали менее уверенными.

Здесь есть одна вещь, которая принадлежит тебе. Ты узнаешь ее, когда окажешься рядом: это будет единственная вещь в комнате, которую ты не сможешь прочесть. Не ищи ее. Ты не готова. Когда будешь готова, узнаешь. А если так и не будешь — это тоже милость. Оставь ее до тех пор. Пообещай мне хотя бы это, если больше ничего не обещаешь.

Ты вернулась. Я всегда знала, что в конце ты вернешься. Дверь узнала раньше меня.

Эдит.

Рен прочла письмо дважды. Потом долго стояла, слушая воду под полом, и смотрела на полки. За каждым ярлыком был человек, которого Эдит помнила или не успела найти. Сотни вещей. Десятки лет работы.

И одна из них была ее. Ей запретили искать, а она уже хотела найти ее так, как хочется нажать на синяк.

«Я продаю», — сказала она вслух пустой комнате, письму и всему, что могло слушать. «Подпишу его бумаги и поеду домой».

Но письмо она не выбросила. Сложила по старым сгибам и убрала во внутренний карман пальто. Это было просто письмо, сказала себе Рен. Бумага.

Офис мистера Олдоса находился в Уитби, над туристическим агентством, которое, судя по плакатам в окне, специализировалось на пляжах без приливов и воде цвета леденцов. Рен сидела под фотографией Санторини, пока маленький сухой солиситор — местный юрист по наследству и недвижимости — объяснял юридическое состояние здания, пахнущего солью, бумагой и ее мертвой бабушкой.

«Само помещение в собственности», — сказал он, постукивая по документу. «Общие обязательства по морской стене и линии крыши. Историческое право прохода через задний коридор. Сложно, но для Солтрида не необычно. Здесь вообще ничто не бывает необычным, пока не попытаешься это продать».

«Я и пытаюсь продать».

«Да», — сказал мистер Олдос тоном человека, который видел много попыток.

У него было лицо человека, которому часто приходится разочаровывать наследников. На столе все лежало неестественно аккуратно. Даже три стопки бумаг были выровнены по краю.

«Мистер Крейл уже обращался к вам, насколько я понимаю».

«У него талант появляться».

«У него талант выбирать момент». Олдос перевернул лист. «И доступ к капиталу, что менее обаятельно и куда эффективнее».

«Моя бабушка собиралась продавать?»

Солиситор снял очки, протер одну линзу и не ответил сразу. Этого хватило, чтобы Рен выпрямилась.

«В разные моменты ваша бабушка собиралась делать разные вещи», — сказал он. «Дважды просила меня подготовить письма. Не подписала. Однажды спрашивала о благотворительном трасте — особом фонде, а на следующее утро позвонила и сказала, что трасты — для людей, которые любят заседания. Три зимы назад спрашивала, что будет с содержимым, если крыша не выдержит».

«И?»

«Я сказал ей правду».

«Какую?»

«Что сентиментальность не имеет особого статуса в имущественном праве».

Рен посмотрела на мокрую улицу внизу. Женщина с хозяйственной тележкой шла против дождя так, будто торговалась с ним.

«Похоже на фразу, которую солиситор произносит с удовольствием».

«В этом факте мало приятного». Олдос снова надел очки. «Невостребованное имущество не становится ничьим только потому, что прошло время. И не становится священным только потому, что вокруг него скопилось горе. Ваша бабушка понимала это лучше многих. Она вела записи, потому что только записи отделяют заботу от накопительства».

Рен подумала о полках, фиолетовых ярлыках, зонте на полу.

«Я могу продать все вместе с содержимым?»

«Юридически? При достаточных гарантиях — вероятно. Практически? Мистер Крейл предпочтет пустое здание. Большинство покупателей предпочли бы. Содержимое создает задержку. Задержка создает расходы. Расходы снижают предложение».

«Вы звучите как он».

«Я говорю голосом документов, на которых держится его предложение».

Олдос пододвинул ей папку.

«Текущие обязательства. Страховка, налоги, последний осмотр, коммунальные платежи. У вашей бабушки не было долгов, но она была близка к ним сразу с нескольких сторон».

Рен открыла папку. Цифры были меньше лондонских, но вместе складывались в сумму, от которой пришлось перечитать итог. Смерть Эдит оставила страховку, налоги, счета и подписи в четырех местах.

«Закон не требует, — осторожно сказал Олдос, — чтобы вы продолжали... службу вашей бабушки».

«Потерянные вещи».

«Да».

«Почему вы так это сказали?»

Он посмотрел на нее поверх очков.

«Потому что я был солиситором вашей бабушки двадцать один год, мисс Истли, и за это время научился не притворяться, что понимаю все стороны ее дела».

Рен промолчала.

Олдос достал из верхнего ящика запечатанный конверт. Ее имя. Снова почерк Эдит. На этот раз маленькая записка, не письмо.

«Она оставила это для вас. Велела передать после того, как вы увидите обязательства».

Рен открыла.

Сначала цифры, написала Эдит. Потом призраки. Иначе перепутаешь одно с другим.

И все.

Рен невесело, коротко рассмеялась.

Мистер Олдос, похоже, не удивлялся мертвым женщинам, управляющим порядком встреч.

«Есть еще одно».

«Всегда есть».

«Предложение мистера Крейла действует до конца месяца, но он готов покрыть часть расходов на расчистку, если дело пойдет быстро. Я обязан сказать вам, что это практичное предложение».

«А вы обязаны сказать, что думаете о нем?»

«Нет».

«Скажете?»

Он подумал. Снизу хлопнула дверь туристического агентства; фотография Санторини качнулась в рамке.

«Я думаю, Дуглас Крейл — эффективный человек, который видит здания яснее, чем людей. Я также думаю, что здания не выживают оттого, что люди испытывают к ним чувства. У вашей бабушки, если у нее была слабость, была именно эта». Он сложил руки. «Если хотите моего совета, решите, что именно вы спасаете, прежде чем отказывать человеку, который предлагает избавить вас от хлопот».

«Я не хочу ничего спасать».

«Тогда вам следует продать».

Быстрота ответа ее разозлила.

«Все так просто?»

«Нет. Но достаточно просто, чтобы с этого начать».

Рен убрала записку Эдит обратно в конверт. Сначала цифры. Потом призраки. Только разделить их не получалось: крыша, морская стена, страховка, содержимое. За каждой цифрой в папке Олдоса стояла полка.

«А если я не продам?»

«Тогда вам понадобится опись».

«Есть журнал».

«Тогда вам придется его выучить». Он постучал по папке. «И здание. И обязательства. И соседей. Недвижимость — не коробка, которую наследуют. Это набор споров, которые вы соглашаетесь продолжать».

Рен подумала о визитке Крейла в мусорном ведре, письме Эдит в кармане и о вещи в углу конторы, которая не издала ни звука, но в памяти все равно ощущалась как задержанный вдох.

«Я проведу опись, достаточную для нормальной продажи», — сказала она.

«Это было бы разумно».

«Я разумна».

Мистер Олдос сухо посмотрел на нее.

«Люди, которым приходится заявлять это в юридических конторах, часто не таковы».

Рен подавила улыбку.

На тротуаре у выхода ее ждал Крейл, стоя под навесом туристического агентства и читая что-то в телефоне. Он поднял голову так, будто встреча была случайностью, а не засадой с канцелярией.

«Олдос дал вам бодрую версию?»

«Он дал мне бумаги».

«Это у него и есть бодрая версия». Крейл убрал телефон в пальто. «Я понимаю, это кажется спешкой. Это и есть спешка. Старые здания не ждут вежливо, пока семьи будут готовы. Гранты тоже. Инвесторы тоже».

«Я еще не решила».

«Вашей матери вы сказали, что решили».

«Моя мать говорит людям вещи, когда боится».

«Большинство людей так делают».

Он удивил ее тем, что не воспользовался этим.

«Послушайте, мисс Истли. Ваша бабушка была замечательной женщиной. Но место полно сырости и старой печали, а вы не производите впечатления человека, которому недостает ни того, ни другого. Возьмите деньги. Езжайте домой. Дайте кому-нибудь сделать этот ряд полезным».

«Полезным для кого?»

«Для людей, которые приедут сюда и потратят деньги».

«Не для тех, кто здесь живет?»

«Тем, кто здесь живет, нужны те, кто приезжает и тратит деньги. Когда прочтете счета, это покажется менее оскорбительным».

Вот в чем была проблема с Крейлом: неправильное в нем стояло слишком близко к правде.

«Я возвращаюсь в контору», — сказала она.

«Что делать?»

Она не знала. Не по-настоящему. У нее была папка обязательств, записка от мертвой женщины и комната вещей, способных дотянуться до нее сквозь кожу. Но она не собиралась дарить ему удовольствие своей неуверенности.

«Считать», — сказала она.

Крейл посмотрел так, будто подсчет был одним из самых печальных местных обычаев.

«До конца месяца».

«Я слышала с первого раза».

«Люди часто слышат сроки. Редко в них верят».

Он оставил ее под навесом: за спиной — синь Санторини, впереди — серость Солтрида. И Рен с неприятной ясностью поняла, что продажа не обязательно трусость. Продажа может быть ответственным поступком. Чистым поступком. Тем, что делает разумная женщина после цифр и до того, как призраки получают слово.

Она поехала обратно в Солтрид-Бей. Папка с обязательствами лежала на пассажирском сиденье рядом с коробкой одиннадцати вещей. К тому времени, как Рен добралась до холма над городом, решение уже казалось почти разумным.

Один возврат.

Одна вещь, возвращенная перед продажей.

Один призрак, которому позволят заговорить до того, как цифры победят.

Глава шестая. Цена

Она сказала себе: вернет одну вещь. Одну. Просто чтобы доказать, что это возможно. Чтобы закрыть долг хотя бы на единицу и на эту единицу стать легче.

Она знала, что одной вещью не отделается. Но закатала рукава, открыла ящик с надписью КОЛЬЦА И МЕЛКИЕ ЦЕННОСТИ и решила пока не думать о второй.

Она их не трогала. Пока нет. Сначала читала ярлычки, которые Эдит привязала к каждому воощенной ниткой, тем самым аккуратным фиолетовым почерком. *Найдено: скамья 3, праздник урожая. Найдено: водосток, Бридж-стрит. Найдено в возвращенных библиотечных книгах, не востребовано.* Двенадцать колец. Некоторые пролежали здесь дольше, чем Рен прожила в Лондоне.

Она выбрала самое простое кольцо: потертое золотое, женское. На ярлыке было только: *Найдено на ступенях гавани, отлив* — и дата одиннадцатилетней давности. Рен решила, что простая вещь должна хранить простое воспоминание. Никаких оснований для этого у нее не было.

Рен подняла кольцо.

Женские руки, потрескавшиеся от мыла, по запястьям в холодной воде. Рен готовилась к большому горю, а получила обычное утро. Семидесятилетняя женщина стояла у кухонной раковины и стягивала обручальное кольцо через распухший сустав. После смерти мужа оно стало свободным и все время крутилось. Она сняла его перед мытьем посуды, положила на подоконник, потом понесла таз к ступеням гавани, чтобы вылить серую воду. Кольцо соскользнуло сначала на край таза, потом в море. Женщина смотрела вслед и повторяла: *ой... ой, нет.* Тихо, чтобы никто не услышал.

Рен положила кольцо. Лицо у нее было мокрым. Холод ушел, оставив в руках боль.

Под прилавком лежал журнал Эдит. В нем теми же фиолетовыми чернилами за сорок лет были записаны все находки и — иногда, недостаточно часто — все возвраты. Рен понадобился час. *Ступени гавани, отлив*, одиннадцать лет назад. Без имени. Но тремя строками выше, на той же неделе, была другая запись: *миссис Сеннен, очки, возвращено.* Фамилию Сеннен Рен знала так, как знают детские фамилии: звучание остается во рту раньше всяких причин. Вдова, семидесяти лет тогда, восьмидесяти сейчас. Если жива.

Она была жива. Женщина на почте сказала это без лишних вопросов, потому что Рен произнесла: «Мне нужно вернуть кое-что от Эдит», — а в Солтрид-Бей такая фраза открывала двери. Дом четыре, Клифф-террас. Осторожно на ступеньке.

До самого дома Рен собиралась опустить кольцо в почтовый ящик. Но у зеленой двери поняла, что хочет увидеть лицо женщины, когда та развернет сверток. Это любопытство было не самым благородным, и все же Рен постучала.

Дверь открыла очень маленькая, очень прямая женщина. Она смотрела на Рен откровенным, не смущающимся взглядом старости.

«В тебе есть что-то от Эдит», — сказала она. «Младшая. Та, что уехала».

«Да», — сказала Рен.

Сейчас было не время исправлять *младшая*. Для этого вообще не было времени.

«Миссис Сеннен. Я нашла кое-что ваше. Это заняло слишком много времени. Простите».

Она вложила бумажный сверток в руку старухи. Не сказала, что внутри. Просто смотрела, как миссис Сеннен разворачивает его дрожащими пальцами — теми же пальцами, только старше, — и как она совершенно замирает.

«Я бросила его в море», — сказала миссис Сеннен. «Одиннадцать лет назад, почти ровно. С водой после посуды, как дура. Никому живому не рассказывала. Так стыдно было».

Она сжала кольцо в ладони. Губы у нее задрожали, но она только глубоко вдохнула и подняла глаза на Рен.

«Как...»

Это не было вопросом. А у Рен не было ответа, который не оказался бы ложью длиннее, чем она могла вынести.

«Прилив возвращает вещи», — сказала она. «Вы знаете. Просто иногда не сразу».

«Возвращает», — сказала старуха, держа в руке мужа. «Да. Возвращает».

Рен шла обратно вниз по холму одновременно легче и тяжелее. Она почти дошла до набережной, почти позволила себе почувствовать что-то похожее на хорошее, и потянулась к теплой уверенности в груди привычным счетом: первое — наперсток; второе — читательский билет; третье — цветок; четвертое...

Четвертого не было.

Она остановилась на булыжниках. Четвертым был молочный зуб. Она знала это. Могла произнести слова: *молочный зуб*. Но то, что эти слова должны были открыть, — маленький личный фильм, руки матери, карман пальто, год, место, где он нашелся, — исчезло. Остался только ярлык. Рен стояла неподвижно и снова и снова тянулась к этому месту, но не находила за что ухватиться. Так язык возвращается к пустоте, где только что был зуб.

Оно берет немного из твоего собственного хранилища, чтобы освободить место.

Одно кольцо стоило ей воспоминания о собственном детстве. Рен знала название утраченного предмета, но уже не знала, почему хранила его. От этого было страшнее: она не могла даже измерить потерю.

Она посмотрела вверх, к Клифф-террас, потом вниз, к конторе в конце ряда. Полки от пола до потолка были набиты чужими потерями. Теперь Рен знала цену одного возврата и могла умножить ее на всю комнату.

Закончи, что сможешь, написала Эдит. Будто это милость. Будто это не самая жестокая арифметика на свете.

Рен вернулась в контору, села на табурет и впервые с того телефонного звонка во вторник позволила себе закрыть лицо руками. Так она и сидела, пока колокольчик над дверью не звякнул, и голос, которого она не слышала шестнадцать лет, не произнес ее имя так, будто все это время ждал, когда его впустят обратно в комнату.

Глава седьмая. Том Хейл

«Рен», — сказал он снова.

Она убрала руки от лица. И вот он стоял.

Том Хейл когда-то был худым мальчишкой с вихром и выгоревшими от соли волосами; он умел вслепую сплести трос, но не мог, хоть убей, сказать ей правду в лицо. Мужчина в дверях теперь был широк в плечах, у одного виска пробилась седина, а руки, когда он снял кепку, были руками лодочного мастера — в шрамах, уверенные. Но он стоял все так же: наполовину в комнате, наполовину снаружи, не решаясь войти до конца. Это был тот самый мальчик, и от него по Рен прошел холод с воды.

«Я бы постучал, — сказал он, — только это лавка».

«Она закрыта».

«Да». Он вертел кепку в руках. «Я увидел свет. Я присматривал с тех пор, как...» Он остановился. «Это я ее нашел. Эдит. Принес молоко, как всегда, а вчерашнее стояло на ступеньке. Я понял. Открыл сам». У него дернулась челюсть. «Она сидела в кресле у окна. Смотрела на воду. Я хочу, чтобы ты знала: она не выглядела испуганной. Скорее так, будто ждала прилива».

Рен не могла говорить. После звонка матери она ни разу не плакала по бабушке. А теперь Том принес ей одну подробность — Эдит смотрела на воду — и глаза сразу наполнились. Рен отвернулась, злая на него за то, что он это увидел.

«Спасибо», — выговорила она.

«Да». Он посмотрел в пол. «Я пойду. Просто хотел, чтобы ты услышала от меня, а не от города. Город расскажет хуже».

Он снова надел кепку, но у двери остановился.

«На похороны ты не приехала».

«Я узнала после».

Том посмотрел на нее.

«А если бы узнала вовремя — приехала бы?»

«Том».

«Шестнадцать лет», — сказал он. «Ты ушла тем летом, будто дом горел, и ни строчки. Ни матери. Ни Эдит, а она бы за тобой в море вошла. Ни...»

Он резко остановился у самого края.

«Ни тебе», — сказала Рен. «Скажи».

«Я не собирался».

«Собирался».

«Ладно». Он не повысил голос, и от этого было хуже. «Ни мне. Вот. Помогло?»

«У меня были причины, Том».

«Назови одну». Он наконец сделал шаг внутрь, кепка все еще была в кулаке. «Одну вслух. Шестнадцать лет весь город ходит вокруг тебя на цыпочках, будто ты стеклянная, и ни разу...»

«Не надо».

«Ни разу ты даже...»

«Я сказала, не надо».

Ее голос хлестнул поверх его и удивил их обоих. На мгновение они замолчали. Под полом двигался прилив. Колокольчик над дверью висел неподвижно.

Когда Том снова заговорил, злость из него ушла; осталась только усталость, и она была старше.

«Вот что с тобой, Рен», — сказал он тихо. «У тебя всегда были причины, и ни одну ты не выпустила изо рта. Весь город видел, как ты потеряла сестру, потом как потеряла себя. И никто не мог до тебя дотянуться, потому что ты уже ушла за стекло». Он медленно покачал головой.

«Она тебя не винила. Эдит. Ни разу. Ни за что. Не знаю, какую историю ты рассказывала себе там, где была все эти годы. Но это не ее история. И не наша».

Рен крепче взялась за край прилавка.

«Что значит — историю, которую я себе рассказываю?» — медленно спросила Рен.

«Какую, по-твоему, историю я ношу?»

Том посмотрел на нее, и что-то в его лице изменилось: уверенность стала неуверенной.

«Ты не помнишь», — сказал он. «Да? Ту ночь».

Это не был вопрос. Она не ответила, и молчание ответило за нее.

«Боже», — тихо сказал он. «Ты правда не помнишь».

Он отступил к порогу, к набережной и гаснущему свету, будто от этой комнаты нужно было отойти подальше.

«Тогда не я буду рассказывать тебе это в лавке. Спроси мать, Рен. Спроси Мару, что случилось в гавани в ночь шторма. А когда она не скажет...» Он уже стоял на ступеньке, колокольчик дрожал над ним. «Приходи ко мне. Я в лодочной мастерской. Шестнадцать лет там. Меня нетрудно найти».

Колокольчик звякнул за ним. Через окно Рен смотрела, как он идет по набережной, подняв воротник против ветра. Потом закрыла глаза и снова попыталась вспомнить ночь шторма.

И нашла чистый воздух там, где это должно было быть.

Теперь у отсутствия появились края.

Шестнадцать лет она думала, что не может вынести воспоминание о той ночи.

Ей ни разу не пришло в голову, что она просто не может вспомнить.

Глава восьмая. Закрашенная дверь

Мать перекрасила входную дверь. Именно это едва не остановило Рен на ступеньке, а не новые окна, черепица или шестнадцать лет разлуки.

Все детство дверь была зеленой, вытертой до бледности у защелки двумя девичьими руками. Теперь Мара закрасила ее ровным темно-синим, от края до края. Следов не осталось.

Людей не закрашивают, сказала Эдит где-то в затылке Рен.

Но Мара закрасила. Прямо поверх них.

Мать открыла до того, как Рен постучала. Она ждала. Лицо уже было подготовлено — спокойное, надежное. Рен умела делать точно такое же.

«Заходи лучше», — сказала Мара. «Тепло выпустишь».

Кухня почти не изменилась. Рен села на свое старое место, а мать без вопросов поставила чайник. Пока вода нагревалась, обе смотрели куда угодно, только не друг на друга.

«Том Хейл приходил в контору», — сказала Рен.

Мара стояла к ней спиной у столешницы.

«Да?»

«Он велел спросить тебя, что случилось в ночь шторма». Рен смотрела на плечи матери. «Вот я и спрашиваю».

Чайник подбирался к свисту. Мара сняла его раньше.

«Ты знаешь, что случилось», — сказала она. «Все знают. Незачем...»

«Я не знаю, что случилось». Рен сказала это ровно, потому что только так слова выходили без дрожи. «Вот что я тебе говорю. Я этого не помню. Ничего. Шторм, Айрис, ночь, когда она... Там пустое место. Я шестнадцать лет обходила его и называла горем. А сегодня Том посмотрел на меня так, будто увидел призрака, когда понял, что у меня этого нет». На последних словах голос все-таки дрогнул. «Так что не говори, что я знаю. Расскажи, что случилось».

Мать очень медленно повернулась, держа две кружки, поставила их на стол с такой осторожностью, что это само было оттягиванием, села и посмотрела на дочь. На одно мгновение — одно — подготовленное лицо съехало. Под ним было столько страха, что злость Рен погасла.

«Ты правда не помнишь», — сказала Мара.

Не вопрос. Том сказал то же самое и тем же неверящим тоном. После второго раза слова стали похожи на диагноз.

«Нет».

«Утром после шторма ты пришла сюда», — медленно сказала Мара. «Сухая. Спокойная. Сказала, что сестра ушла, что ты не собираешься ее помнить, что бабушка тебе помогла и что так лучше». Ее пальцы побелели вокруг кружки. «Моя дочь утонула ночью, а вторая утром стояла в этих дверях без капли горя, будто вернулась из магазина, и говорила, что так *лучше*. Так что нет, Рен. Я не знала, что ты не можешь помнить. Я думала, ты *не хочешь*. Думала, ты решила не помнить. Шестнадцать лет так и думала».

Рен перестала чувствовать пальцы на кружке.

«Что значит — бабушка помогла?» — спросила Рен. «Как помогла?»

И вот оно: то, на что мать не хотела смотреть. Глаза Мары ушли к окну, к новой темно-синей краске, куда угодно, только не к Рен.

«Я не знаю, как она это сделала», — сказала Мара. «И не хотела знать. Она вынула что-то из тебя тем утром, а я позволила ей, прости меня, Господи, потому что ночью ты кричала, а утром молчала, и я не могла... я не могла выдержать крик. Ты не понимаешь. Никто, кто не слышал такой звук от собственного ребенка, не поймет. Она сказала, что может остановить. И остановила». Рот у Мары дернулся. «А потом ты стала чужой. И уехала. С тех пор у меня две дочери в земле, только одна из них звонит на Рождество».

«Расскажи про гавань», — сказала Рен. Собственный голос шел откуда-то издалека. «Про саму ночь. Что ты знаешь».

Мара рассказала. Лодка, которую застала перемена погоды: рыбацкая, старая. Внук Сен-ненов и еще один парень. Мотор отказал, вода поднималась быстро, как здесь умеет, без предупреждения, которому приезжие поверили бы. Полгорода на молу в темноте, с фонарями. Айрис в воде — Айрис, которая плавала как тюлень, которая уже вытаскивала двух летних туристов из отбойного течения. Айрис прыгнула с конца стены в черное море, чтобы добраться до лодки, потому что Айрис была такой: никогда не стояла на стене, если могла быть в воде. Лодку спасли. Двух парней вытащили на камни, кашляющих. Айрис не вернулась. Море отдало лодку, парней, весло, канистру. Айрис не отдало. Ни тогда. Никогда.

«А я?» — спросила Рен. «Где была я?»

Мать долго смотрела на нее.

«На стене», — сказала Мара. «Ты была на стене, Рен. С фонарем. Те, кто там был, говорили: ты держала фонарь, чтобы она видела лодку».

Она сказала это осторожно. Рен слышала эту осторожность, слышала, как ей мягко ставят на стол вещь, чтобы она не разбилась. И не могла понять по закрытому лицу матери, была ли эта осторожность нежностью или ложью, разглаженной костяной папкой.

«Ты держала фонарь. Вот и все. Ты ничего не могла сделать. Никто ничего не мог».

История складывалась гладко и снимала с Рен вину. Именно поэтому она ей не поверила. Мать рассказывала без запинки, но большой палец снова и снова проходил по сколу на кружке.

«Ты мне лжешь», — тихо сказала Рен. «Или кто-то солгал тебе, а ты решила оставить как есть. Что из этого?»

Мара вскочила так резко, что стул скребнул по полу.

«Ты не можешь вернуться сюда, — сказала она, и голос наконец раскололся, все шестнадцать лет разом, — и выкапывать ее из воды своими вопросами. Не можешь. У тебя был шанс горевать о ней как о человеке, а ты отдала его на кухонном пороге. Я хоронила ее каждый день за нас обеих. Так что пей чай или не пей, но ты не будешь сидеть в моей кухне и называть меня лгуньей из-за худшей ночи моей жизни».

Рен тоже встала. Они смотрели друг на друга через стол: две женщины с одинаковым закрытым лицом, одинаковой прямой спиной, одинаковым отказом уступить.

«Есть синяя комната», — сказала Рен. «Ты держала для меня синюю комнату».

«Я держу ее для дочери, которая ушла», — сказала Мара. «Не для той, что вернулась просить, чтобы ее ранили. Это не одна и та же девочка. С этим я уже примирилась».

Она отвернулась к окну, к темно-синей двери.

«Иди спроси Тома Хейла, раз уж он тебя послал. Он был там с собственным фонарем. Скажет то же самое».

«Скажет?» — спросила Рен.

Мать не ответила. Рен вышла сама, мимо двери, которая когда-то была зеленой. Не хлопнула ею. Это стоило ей усилия, и она подозревала, что мать услышала в этом именно то оскорбление, которым оно было.

Глава девятая. Пропавшая неделя

В журнале не хватало двух недель.

Рен нашла это почти в полночь. В гостиницу она не вернулась, синюю комнату даже не рассматривала. Зажгла лампу на прилавке и открыла журнал Эдит на годе шторма. Хотела занять руки и проверить рассказ матери; не знала, чего из этого хотела сильнее.

Двух недель не было. Не потерялись. Их убрали намеренно. Пять листов срезали у самого корешка чем-то острым, так чисто, что не заметишь, если не провести большим пальцем по сгибу — как Рен провела по профессиональной привычке — и не почувствовать мелкую щетину обрезков. Неделя перед штормом и неделя шторма. Сорок лет фиолетовых чернил, каждый найденный зонт, каждое возвращенное кольцо, непрерывно — кроме тех двух недель, которые имели значение. Их бабушка вырезала ножом и унесла.

Лавка, которая копит, ничем не лучше моря, которое удерживает, написала Эдит. А потом сама вырезала в своем журнале дыру размером ровно с то, что ей нужно было спрятать.

Мать отредактировала рассказ. Эдит вырезала страницы. Город шестнадцать лет молчал. А у самой Рен на месте той ночи была пустота. Слишком много людей старались сохранить одну и ту же тайну.

Она убавила лампу и сидела в темноте, позволяя зданию дышать вокруг вместе с приливом. И тогда почувствовала — как замечаешь звук, который давно звучал, но только теперь стал слышен, — тягу. Из глубины конторы. С нижней полки в дальнем углу, куда не доставал свет. Маленькое настойчивое тянущее чувство, как шатающийся зуб под языком.

Здесь есть одна вещь, которая принадлежит тебе. Ты узнаешь ее, когда окажешься рядом: это будет единственная вещь в комнате, которую ты не сможешь прочесть.

Рен встала в темноте. Лампу не зажгла. Пошла к углу, почти не решая идти, и тяга усилилась. Ее рука поднялась. Где-то под полом вода повернула с долгим вздохом. Рен остановилась, когда до нижней полки оставалась ширина ладони. Близко настолько, чтобы почувствовать — что? Не воспоминание. Другие вещи отдавали память, целый утонувший день чужого человека в одно касание. Эта не давала ничего. Это было единственное место в набитой, шепчущей, пропитанной горем комнате, где стояла полная тишина. Провал там, где должен быть голос.

Она поняла: если сократит расстояние, если коснется того, что ждет в темноте, возможно, получит все назад. Ночь. Шторм. Стену. Фонарь. Сестру. Правду, которую мать сложила и убрала. Все. В одно касание.

И поняла по этой тишине: это единственный предмет на полках, чья потеря была ее собственной. Значит, платить придется своим. Тем, что у нее еще осталось.

Ты не готова, написала Эдит. *Пообещай мне хотя бы это.*

Рен убрала руку и прижала кулак к груди, чтобы не протянуть его снова. В темной конторе это простое движение потребовало от нее всего тела.

«Пока нет», — сказала она темноте, бабушке, тому, что лежало на полке. «Но навсегда вы это тоже не удержите. Ни ты. Ни она».

В ту ночь она спала на полу конторы, под пальто. Не хотела давать Крейлу повод считать, что уже покинула лавку. Не хотела радовать мать, поселившись в синей комнате. И потому еще — хотя ни одному живому человеку она бы этого не сказала, — что не хотела оставлять вещь в углу одну в темноте. Вдруг ночью она решит заговорить сама.

Глава десятая. Две лампы

Лодочная мастерская пахла смолой и отливом. Том Хейл не поднял головы, когда она вошла, хотя по тому, как стояли его плечи, Рен поняла: он узнал ее раньше, чем калитка перестала качаться.

«Мара прислала, — сказал он, — или сама пришла?»

«Это важно?»

«Говорит, какой у нас будет разговор».

Он отложил рубанок, вытер руки и только тогда повернулся. В сером свете с воды он выглядел старше, чем в конторе. Здесь ему не приходилось держать спину прямо.

«Она рассказала тебе историю про гавань. Ты держала фонарь, ничего не могла сделать, очень грустно, конец».

«Ты знал, что она так скажет».

«Это история, которая ей нужна». Он прислонился к корпусу. «Хорошая история. Добрая. Снимает вину с тебя, с нее, с города. Мы рассказывали ее так долго, что я сам почти верю».

«Но».

Том помолчал. За открытым торцом сарая виднелась бухта: вода уходила к отливу, отмели начинали светиться.

«Но я тоже был там с фонарем», — сказал он. «С другой стороны ступеней. Почти так же близко, как сейчас. Когда это случилось. И я никогда не говорил твоей матери того, что сейчас скажу тебе, потому что для нее в этом не было бы милости. Для тебя, может, тоже не будет. Так что скажи сейчас, хочешь ли слышать, Рен. Потому что когда я произнесу это вслух, ты уже не сможешь сделать вид, что не слышала».

Вода шепотом уходила. Где-то проснулась чайка, пожаловалась и снова затихла.

«Говори», — сказала Рен.

«На стене вас было двое». Том смотрел ей в лицо. «Обе в желтых непромоканцах, которые заставляла носить ваша бабушка. Капюшоны, темнота, дождь. С трех шагов не отличил бы одну от другой. Родная мать не отличила бы. Одна из вас прыгнула с конца стены в воду. Одна осталась. Вот это я подтвердил бы в любом суде».

«Та, что прыгнула, была Айрис», — сказала Рен.

«Такова история». Том отвел взгляд к воде. «Айрис плавала. Значит, Айрис. Тогда этого всем хватило». Он снова посмотрел на нее. «Но есть две вещи, которые я шестнадцать лет не могу уложить в эту историю. Дальше делай с ними что хочешь».

«Первое. Перед тем как она ушла со стены, одна из вас выкрикнула имя. Я слышал ясно, поверх ветра. В бурю иногда слышишь одну вещь и больше ничего. Но я никогда не был уверен, из чьего рта это вышло. И чье это было имя. Погода забрала само слово, оставила только звук».

Он остановился. Следующая часть давалась тяжелее.

«Второе. Потом. Когда мы вытащили парней на камни, они кашляли, мы считали головы в темноте и орали вас обеих... тебя не было на стене, Рен. История говорит, что ты стояла там всю ночь с фонарем и не двигалась. Но тебя там не было. Ты вышла позже. Со стороны камней, у самой воды, мокрая до груди. И твоя бабушка добралась до тебя раньше всех, накинула на тебя свое пальто и увела домой в темноте». Он медленно покачал головой. «К утру история уже была про фонарь и стену. А мне было восемнадцать, я был мокрый, перепуганный до полусмерти. Кто я такой, чтобы стоять в доме, где горе, и говорить, что все было иначе. Я никому не сказал. Не знаю, что это значит. Знаю только, что оно ни разу не легло ровно. И ты первый человек за все эти годы, который стоит передо мной и не знает заранее, какой сестрой ему положено быть».

Рен стояла в темноте, пахнувшей смолой, и вода уходила. Она снова потянулась — как на булыжниках, как на кухне у матери, — к ночи, стене, фонарю, имени, выкрикнутому над черной водой.

И нашла ту же чистую пустоту. Ту же запечатанную темноту.

Но пустота уже не была бесформенной. В ней появились две фигуры в одинаковых дождевиках, выкрикнутое имя и сама Рен, выходящая мокрой со стороны камней. Детали не складывались, зато теперь не давали отвернуться.

«В конторе есть вещь», — услышала она собственный голос. «На нижней полке, в углу. Единственная, которую я не могу прочесть. Единственная во всей комнате, которая мне ничего не говорит. Бабушка оставила письмо и велела не трогать ее, пока я не буду готова». Рен подняла глаза на Тома. «Думаю, это единственная вещь в мире, которая знает, что на самом деле случилось на той стене. И думаю, она все это время ждала, пока я буду готова потерять то, что придется потерять, чтобы узнать».

Том застыл.

«Тогда ради Бога, Рен, — тихо сказал он, — не трогай ее, пока не будешь уверена, что хочешь ответа. Потому что в этом городе мы шестнадцать лет жили с незнанием и как-то выжили». Он посмотрел на сияющие отмели, туда, где море возвращало все, кроме единственного, что было нужно. «Не уверен, что кто-нибудь из нас выживет, если окажется, что мы ошиблись».

Глава одиннадцатая. Не тот шарф

Три дня Рен не подходила к дальнему углу. Она брала вещи с других полок, искала владельцев, заполняла журнал — лишь бы к вечеру устать настолько, чтобы не тянуться к тому, что ждало в темноте. Теперь она лучше понимала Эдит: чужая потеря занимала руки и не задавала вопросов о твоей собственной.

Первая попытка провалилась. Рен отнесла синий школьный шарф в пекарню, потому что в журнале Эдит было написано: *мальчик Тиг, игровое поле, февраль*. Миссис Тиг посмотрела на шарф поверх подноса с глазированными булочками и сказала:

«Не наш, любовь моя. Наш был зеленый. И пах хуже».

Потом, поскольку Рен выглядела так, будто забыла о существовании обеда, она заставила ее съесть булочку с изюмом прямо у прилавка и только тогда отпустила. Вернувшись, Рен записала в журнал: *не тот шарф*. Это было унижительно буднично и успокоило ее сильнее, чем сочувствие.

На следующее утро она совершила ошибку: повернула табличку на двери стороной ОТКРЫТО.

Иначе пришлось бы сидеть наедине с углом конторы. К тому же Эдит написала: *закончи, что сможешь*. Табличка застряла на полпути, и Рен пришлось ударить по ней ладонью. Черные буквы наконец встали ровно. Первые десять минут не случилось ничего.

Потом пришел Солтрид-Бей.

Не весь сразу. Солтрид ничего не делал сразу, если не было шторма или похорон. Он приходил по двое и по трое, под зонтами, делая вид, что просто проходил мимо. Мужчина в желтом непромоканце хотел знать, не держала ли Эдит комплект шпонок гребного винта, потерянный «где-то перед Пасхой, не этой, другой». Женщина с коляской спрашивала про одну жемчужную серьгу и описала ее одновременно как кремовую и серую; Рен сначала сочла это бесполезным, пока не открыла ящик и не обнаружила, что половина серег в мире, по видимому, именно такие. Двенадцатилетний мальчик пришел за скейтбордом, который оставил «сто лет назад», то есть в позапрошлый понедельник. Тогда Эдит еще не умерла, и Рен смотрела на него так долго, что он добавил: «Или, может, не здесь», — и отступил.

В половине одиннадцатого пришла Хейзел Кроу со стопкой почты под мышкой и без малейшего намерения признавать, что пришла присматривать.

«Тебе нужна книга заявок», — сказала она.

«Она есть».

«Это книга заявок Эдит».

«Теперь моя».

Хейзел посмотрела на журнал, на Рен, снова на журнал — с жалостью, которую обычно оставляют людям, пытающимся расплатиться иностранной монетой в автомате.

«Нет. Это журнал. Книга заявок — то, куда ты даешь людям писать, чтобы они чувствовали, будто что-то сделали. А журнал — то, чему ты веришь, когда они ушли».

«Эдит так делала?»

«Эдит делала что хотела, а потом устраивала так, будто это система». Хейзел положила почту на прилавок. «Но она знала людей. Ты пока нет».

Рен не понравилось это *пока*, потому что в нем была доброта.

Следом пришла миссис Тиг с бумажным пакетом булочек и объявленным намерением спросить про неправильный шарф. Через тридцать секунд это превратилось в необъявленное намерение сообщить мужчине в желтом непромоканце, что нужные ему шпонки лежат у него же в сарае, потому что вчера в пекарне так сказала его жена. Женщина с коляской начала кормить младенца крошками булочки. Хейзел нашла в задней комнате пустую школьную тет-

радь и написала на обложке крупными буквами: ЗАЯВКИ. Какой-то мужчина, которого Рен не знала, зашел сказать, что потерял в 2008 году солнцезащитные очки с диоптриями и согласен на любые «примерно такие», после чего Хейзел сообщила ему, что оптика все еще работает, а мошенничество нынче не в моде.

К одиннадцати Рен поняла, что тишина последних дней ничего не значила. К Эдит люди подходили боком, а к внучке пока не знали как. Еще выяснилось, что потеря портит точность: синий шарф становился зеленым, стальные часы — серебряными, а одна и та же серьга — кремовой и серой. Иногда люди ошибались. Иногда лгали.

Мужчина, согласный на «любые примерно такие» очки, был не самым плохим. Хуже была женщина в пальто цвета верблюжьей шерсти, которая зашла в затишье перед обедом и слишком небрежно спросила, не хранила ли Эдит старые украшения времен войны.

«Какие украшения?» — спросила Рен.

«Ну, не знаю. Броши. Кольца. Золото. Тетя за годы потеряла немало вещей».

«Имя тети?»

«Миссис Барлоу».

Хейзел, которая сортировала почту на дальнем конце прилавка и слушала всем телом, сказала:

«Которая миссис Барлоу?»

Женщина моргнула.

«Их было пять», — сказала Хейзел. «Три, если считать только живых, и две, если считать только тех, кто стал бы с вами разговаривать».

Женщина ушла, не проверив ни одного ящика.

Миссис Тиг проводила ее взглядом.

«Она из антикварной лавки в Уитби».

«Она сказала — тетя».

«Когда речь о золоте, у всех есть тети».

Рен закрыла ящик КОЛЬЦА И МЕЛКИЕ ЦЕННОСТИ и заперла. Раньше не запирала. Ей казалось, это недружелюбно по отношению к комнате, полной горя. Теперь это показалось хорошими манерами.

В полдень контора опустела почти сразу. Хейзел вспомнила о настоящей почте. Миссис Тиг унесла оставшиеся булочки прежде, чем Рен успела потянуться за второй. Рен осталась с книгой заявок, журналом и новой болью за глазами.

Ей следовало закрыться на час. Вместо этого она сняла с детской полки игрушечного кролика.

Он стоял там с первого дня: серый там, где когда-то был кремовым, одно ухо почти протерто любовью насквозь, вышитый нос разболтался, тело сплющено годами под маленькой рукой. Детская вещь. Безопасная, сказала себе Рен. Не безопасная в смысле цены — здесь ничто не было безопасным, — но ясная. Без взрослых тайн. Без шторма. Без личности. Ребенок потерял кролика. Эдит сохранила. Где-то в городе есть человек, который когда-то был ребенком и, может быть, будет рад узнать, что не всякая маленькая любимая вещь исчезает.

Она взяла кролика.

Воспоминание пришло сначала мягко. Ткань у горячей щеки. Глухой бег детского сердца. Автобус, работающий на холостом ходу под дождем. Она была маленькой, четырех или пяти лет, слишком маленькой, чтобы понимать взрослое устройство дня, кроме одного: что-то неправильно. У ног женщины стоял чемодан. Коричневый, потертый, одна ручка перевязана веревкой. Женская рука держала детское запястье слишком крепко, потом недостаточно крепко.

Посиди здесь минутку, Сара.

Ребенок сидел на низкой стенке у старой автобусной остановки, прижимая кролика под подбородком. Женщина наклонилась и поцеловала ее в макушку. Помада пахла пудрой и перечной мятой. Лицо у женщины было мокрым, хотя дождь был почти туманом. За ними гавань лежала плоская и оловянная, а автобус на Мидлсбро дышал выхлопом в утренний воздух.

Я сейчас вернусь.

Ребенок поверил. Девочка болтала ногами у стены и заставляла кролика смотреть на море. Женщина пошла к автобусу, поставила одну ногу на ступеньку и остановилась.

Кролик соскользнул с колен ребенка в лужу.

Женщина увидела.

Воспоминание переместилось в женщину на ступеньке автобуса. Она смотрела назад — на игрушку в луже и маленькую склоненную голову. Водитель ждал. Еще можно было сойти, поднять кролика, взять ребенка за руку.

Водитель что-то сказал.

Женщина вошла в автобус.

Двери сложились.

Ребенок поднял голову только когда автобус тронулся. Потом весь мир заполнил звук, который издала девочка. Рен вернулась в себя, так сильно прижимая кролика к груди, что расшатанный нос оставил след через рубашку.

«Ох», — сказала она в пустую контору. «О нет».

К шее кролика был привязан ярлык Эдит. Фиолетовые чернила побледнели, но читались: *Автобусная остановка, северная набережная. Детский кролик. S.T.? Мать ушла.*

Рен положила кролика и уперлась обеими руками в прилавок.

Хейзел ей была не нужна. Хейзел знала бы имя, но журнал знал первым. Сара Талл. Потерянная игрушка. Возвращено? Возврата не было. Двумя строками ниже: *M. Tull, чемодан, забрала сестра.* Заметка Эдит, мельче обычного: *Девочку привела Мара. Не говорит. Кролика оставить, если мать вернется.* Потом, годы спустя, еще одна: *S. теперь убирает дома для отдыхающих. Спрашивала один раз, 15 лет. Сказала нет. Оставить?*

Оставить. Эдит поставила вопрос и, судя по всему, почти двадцать лет не отвечала.

Рен тоже следовало оставить. Она знала. Предмет уже дал больше, чем она просила. У нее не было права решать, что Саре Талл нужно от утра, достаточно старого, чтобы вокруг него выросла собственная броня.

Но она коснулась. Она заплатила. Хуже: она увидела то, чего ни один ребенок не должен додумывать в одиночку. Не просто то, что мать ушла. А то, что мать увидела, что оставляет, — и все равно ушла.

Теперь Рен знала не только то, что мать ушла. Она знала, что мать оглянулась и все равно вошла в автобус.

Сара Талл работала в агентстве по сдаче домов на Ист-стрит. Рен нашла ее на прачечном дворе за агентством: Сара с силой заправляла простыни в промышленную стиральную машину, будто каждая была в чем-то виновата.

Ей было за тридцать. Невысокая, крепкая, волосы туго убраны, руки загорелые от работы на улице. Она посмотрела на кролика в руках Рен и не пошевелилась.

«Нет», — сказала она.

Рен остановилась у ворот.

«Я еще ничего не сказала».

«И не надо. Я знаю, что это».

«Значит, помните».

«Помню, как спрашивала Эдит в пятнадцать. Она сказала, что не видела». Сара взяла из тележки еще одну простыню, встряхнула и отправила в машину. «Значит, она солгала. Или ты нашла его позже. Во второе я не верю».

Рен держала кролика осторожно. За дорогу от конторы он стал тяжелее.

«Она его сохранила».

«Очевидно».

«В записке было: ты спрашивала один раз и сказала нет».

Сара коротко, без веселья рассмеялась.

«В пятнадцать я сказала бы нет даже почке, если бы взрослый предложил ее по-доброму».

«Ты хочешь его?»

«Дурацкий вопрос».

«Да».

Машина втянула край простыни и начала крутить. Сара вытерла руки о брюки.

«Ты прочла?»

Вот оно. Слово, которое никто не должен был произносить и которое все знали.

Рен не солгала.

«Да».

Лицо Сары закрылось так быстро, будто только и ждало случая.

«Значит, ты знаешь».

«Я знаю, что сохранил кролик».

«Скажи».

Рен не хотела. Именно поэтому должна была.

«Твоя мать видела, как он упал».

Сара посмотрела мимо нее, на стену двора, на чаек, стоящих там как скучающие магистраты.

«Раньше я думала, что она не видела», — сказала Сара. «Когда была маленькая, думала: если бы она увидела, как Банни упал в лужу, она бы вернулась. Не за мной, может. За ним. С ним было проще». Рот ее дернулся. «Потом, когда стала старше, сказала себе, что она видела, и так лучше, потому что хотя бы я не была дурой, когда плакала. Потом сказала себе, что все это не важно, потому что взрослые женщины не переживают из-за игрушечных кроликов, разве что хотят сделать эффектный вывод на терапии, а на терапию у меня денег нет. Вот и все».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.